**Светлана Шишкова-Шипунова**

**Ахматова: личная жизнь**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Знамя» 2009, №9**](http://magazines.russ.ru/znamia/2009/9/)

***дважды***

*…Поэтам  
Вообще не пристали грехи.*

А. Ахматова (“Поэма без героя”)

Есть три эпохи у воспоминаний об Анне Ахматовой.

Первая пришлась на оттепель 60-х, когда после пятнадцатилетнего перерыва Ахматову снова стали печатать (вышел знаменитый сборник “Бег времени”), и стихи ее смогли вспомнить те, кто знал их когда-то, и узнать те, кто никогда их не читал.

Вторая волна интереса к Ахматовой случилась в годы перестройки. Но общество 80-х интересовала не столько ее поэзия (хотя именно тогда впервые увидел свет “Реквием”), сколько биография, и в первую очередь — трагические ее страницы, связанные с репрессиями, гонениями, запретами.

Прошло еще двадцать лет, и новый всплеск “ахматовианы” диктуется уже интересами книжного рынка. Нынешнего читателя не заманишь ни поэзией Серебряного века, ни рассказами о репрессиях. Последнее, чем еще можно привлечь пресыщенную информацией массовую аудиторию, полюбившую подглядывать за жизнью “звезд”, — это личная, еще лучше — интимная жизнь “звезды” по имени Анна Ахматова. Тем более что жизнь эта была богата на встречи-невстречи, браки-разводы — есть что вспомнить, что порассказать.

Личной жизни Ахматовой и посвятила свою новую книгу Алла Марченко. Надо отдать должное автору: она не ограничилась при этом пересказыванием любовных историй. Полноправным “действующим лицом” книги стала поэзия, которая — в случае Ахматовой — слишком тесно связана с личной жизнью поэта, из нее проистекает, ею надиктована. Исследовать поэзию Ахматовой — это и значит исследовать ее жизнь, чем, собственно, Алла Марченко и занимается в своей книге, жанр которой определен в аннотации как “расследование”. Стихи рассматриваются здесь как факты биографии. Стихами, как документами, проверяется точность тех или иных событий жизни Ахматовой. И наоборот — с помощью подтвержденных фактов биографии обосновываются или опровергаются даты написания стихов, их истинные вдохновители и адресаты. При этом автор не боится спорить ни с ахматоведами, ни с самой Ахматовой.

“Почему я считаю, что процитированное стихотворение написано после 4-го, но не позже 7-го апреля 1913 года, а не осенью, как датировала его сама Ахматова, и не в феврале, как полагают составители шеститомного собрания ее сочинений? Потому, что…” и т.д.

Таким образом, цель “расследования” — наведение в любовно-поэтическом архиве Анны Ахматовой некоего порядка. Задача непростая, если вспомнить, что сама она всячески “запутывала следы”: меняла даты под стихотворениями, перепосвящала их, имена одних адресатов упорно скрывала, на других надевала маски... Марченко хочет расставить все по своим местам, разрушить мифы, сорвать маски, назвать имена. Надо ли это делать и не разрушается ли тем самым *таинство* поэзии — вопрос спорный, но в любом случае достойна похвалы обстоятельность и скрупулезность автора. Главный “инструмент” при этом — подробности, детали, нюансы, и еще — “умные числа” (даты встреч, свиданий, написания стихов), анализируя и сопоставляя которые автор делает свои маленькие “открытия”. Таких “открытий”, догадок, оригинальных версий у Марченко набралось немало.

*Ахматова и Гумилев*

Центральное место в “достаточно богатой личной жизни” Ахматовой Марченко безоговорочно отдает Николаю Гумилеву. Как же, ведь они знали друг друга с юности, он стал ее первым мужем и отцом ее единственного сына, открыл ей путь в поэзию… То обстоятельство, что брак их продлился формально восемь, а фактически всего четыре года, автора не смущает. Как и то, что для Ахматовой этот брак был, по выражению самой Марченко, “нелюбый”. Гумилеву уделено в книге едва ли не столько же места, сколько Ахматовой, о нем — и в прологе, и в эпилоге, и в нескольких начальных главах, и там, где речь идет уже о совсем других персонажах.

Пытаясь реконструировать историю отношений Ахматовой и Гумилева и ответить на волнующий до сих пор вопрос, почему же они расстались, Марченко старается быть объективной и воздать по заслугам обоим.

Но Ахматовой “достается” больше. Мало того что она его не любила (в то время как он-то ее любил), что изменять начала чуть ли не в медовый месяц, что не понимала и не разделяла его увлечений — путешествиями, Африкой (“У меня от твоей Африки несварение чувств…”), была капризна, стервозна…Есть у автора еще одна, едва ли не главная претензия к Анне Андреевне. Девица Горенко к моменту замужества была, оказывается, не невинна, чем глубоко и навсегда ранила своего жениха.

Стоит ли говорить о таких вещах? На мое разумение — не стоит. Автор, напротив, берет эту деликатнейшую из тем в плотную “оперативную разработку”. Глухие намеки на то, что Гумилев мог быть не “первым”, встречавшиеся в некоторых источниках, под пером А. Марченко превращаются в живую картинку. Буквально из ничего (даже имя того человека осталось неизвестным) автор реконструирует историю первого любовного опыта Анны Ахматовой: 1907 год… Севастополь… незнакомый человек, окликнувший ее на набережной… гостиница… понедельник… “А в субботу все кончилось. Он остановил извозчика за квартал от Морского вокзала. Вот здесь и попрощаемся”. И потом она три года ждала от него писем до востребования, из Херсонеса пешком ходила на почту в Севастополь… И только перестав ждать и надеяться, согласилась выйти замуж за нелюбимого Гумилева.

Собственно, никакого особого расследования для реконструкции этого эпизода не понадобилось, хватило просто воображения, чтобы представить, как могло все быть. Но именно потому, что представленная читателю “картинка” — плод воображения Аллы Марченко, а не воспоминание самой Ахматовой, эпизод оставляет ощущение неловкости. К тому же автор уделяет ему неоправданно много внимания. Сначала (в прологе) только намекает: “Видимо, в Севастополе с ней произошло нечто такое…”, потом дает ту самую развернутую “картинку”, потом вставляет эту тему в предполагаемые разговоры Ахматовой и Гумилева (“то признавалась, что с тем человеком все было… то лукавила, уклоняясь от слишком уж прямого ответа на прямой вопрос”). Потом еще несколько раз возвращается к тому же. Возможно, ее заворожило признание Анны Андреевны, зафиксированное у П. Лукницкого: “В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было!” Запись относится к 1925 году. Кого она имела в виду — неизвестно. Был ли это севастопольский мистер Икс, или тот же Модильяни, а может, Борис Анреп — как знать! А может, это был неназванный, даже не упомянутый в книге Марченко человек — самая первая, безответная любовь юной Ани Горенко — студент В. Голенищев-Кутузов, о котором она в 1906 году писала в письмах к мужу сестры Сергею Штейну: “Мой милый Штейн… Даже стыдно перед Вами признаться: я до сих пор люблю В.Г.-К. И в жизни нет ничего, ничего, кроме этого чувства”.

История отношений Ахматовой и Гумилева местами беллетризована в стиле “усадебного” романа XIX века. Вот как описывается, например, жизнь новобрачных в Слепневе: “Еле-еле дождавшись “перемены декораций” (чай решено было пить в столовой), Анна улизнула по-английски в свою светелку. В сердцах с грохотом задвинула щеколду. И чемодан распаковывать не стала. Николай, часа через три, поднялся по шаткой лесенке. Потоптался перед запертой дверью, да так и ушел — несолоно хлебавши. На цыпочках, стараясь не скрипеть рассохшимися ступеньками. А из сада, большого, фруктового, что за дорогой, долго еще доносился красивый девичий голос…”

Другие эпизоды излишне драматизированы, что входит в противоречие с документальными свидетельствами о супружеской жизни Гумилевых.

Так, о времени, когда сразу после венчания Н.С. на полгода уехал в Африку, сама Ахматова в своих автобиографических заметках пишет: “Как всегда много читала, часто ездила в Петербург, побывала у мамы в Киеве и сходила с ума от “Кипарисового ларца”. Стихи шли ровной волной…”. Но Марченко не верит своей героине: “На самом деле возвращение А.А. в столицу… было роковым образом омрачено, окрашено в цвет траура полугодовым “соломенным вдовством”…”. Прислушайтесь только: “роковым… омрачено… траура… вдовством…” Как будто все уже случилось, и Гумилева нет на свете. Речь, между тем, о 1910 годе, который сама Ахматова спустя полвека оценивала так:

Он не траурный, он не мрачный,  
Он почти как сквозной дымок  
Полуброшенной новобрачной  
Черно-белый легкий венок…

К Гумилеву у автора, пытающегося разобраться, кто из двоих больше виноват, претензий не так много. Да, он тоже был далеко не невинен. Более того, в самый момент сватовства к Ахматовой продолжал отношения и с другими девушками. По словам Марченко, А.А. не понимала, как это можно — “спать с одной, слыть красиво влюбленным в другую, добиваться руки третьей”. Одна — это Елизавета Дмитриева (пресловутая Черубина де Габриак), другая — Машенька Кузьмина-Караваева, третья — Анна Горенко, а еще, оказывается, была Лида Аренс… А еще будут Татьяна Адамович, Ольга Высотская, Лариса Рейснер, Анна Энгельгардт…

Но автор пеняет Гумилеву не за это, а главным образом за то, что он слишком часто и надолго уезжал, оставляя молодую жену в одиночестве.

При этом Марченко изображает Гумилева как романтика, путешественника, “открывателя новых земель”, одержимого жаждой странствий…

Но сегодня о нем известно нечто большее. Например, что до революции он был связан с секретной деятельностью российских спецслужб.

Профессиональный контрразведчик В. Ставицкий в статье “Тайна жизни и смерти Николая Гумилева”\* пишет “о его особой миссии за рубежом, в Лондоне и Париже, в военном атташате особого экспедиционного корпуса Российской армии, входившего в состав объединенного командования Антанты”. Он же ссылается на рассекреченную служебную “Записку об Абиссинии”, написанную летом 1917 года в Париже. “Суть этого документа сводилась к анализу возможностей Абиссинии по мобилизации добровольцев из числа чернокожего населения для пополнения союзнических войск на германском фронте”. Записка предназначалась для рассмотрения объединенным командованием Антанты. Автором ее был Н.С. Гумилев.

Военная карьера Николая Степановича отражена в книге А. Марченко вскользь. Зато заново “расследуется” его участие в “контрреволюционном заговоре” 1921 года. Автор опирается на три опубликованных источника. Первый — беллетристические мемуары Михаила Зенкевича “Мужицкий сфинкс”, в которых Гумилев изображен “главным организатором и координатором боевых операций”. Второй — книга внебрачного сына Гумилева Ореста Высотского “Николай Гумилев глазами сына”, где в приложении помещен, как пишет Марченко, “сенсационный документ — до сих пор в России неизвестное письмо Бориса Сильверсвана А.В. Амфитеатрову от 20 сентября 1931 года”. Она приводит выдержку из этого письма, которая, по ее словам, ставит под сильное сомнение общепринятую ныне версию гибели Н.С. Гумилева: “Гумилев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл в нем видную роль…”. Третий источник — устное свидетельство В.И. Немировича-Данченко, с которым Гумилев накануне своего ареста в августе 1921 года обсуждал план бегства из России: “…Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел”.

Марченко обращает внимание на слово “теперь”. Теперь — то есть после подавления Кронштадтского мятежа, после ареста Таганцева, “который выдает…”. Поскольку все три названных источника опубликованы раньше, а Марченко их лишь процитировала, то никакого открытия тут, конечно, нет. Другое дело, как к ним относиться, верить или не верить. Марченко верит.

Между тем, давно опубликованы официальные сведения на этот счет. В уже упоминавшейся статье В. Ставицкого, например, приводятся полные тексты допросов Н. Гумилева от 9, 18, 20 и 23 августа и приговор Петрогубчека от 24 августа 1921 года. Знакомство с этими документами не позволяет сделать вывод о том, что Гумилев играл в заговоре “видную роль”. Скорее, роль его была пассивной, гипотетической, планировалась, но фактически не осуществилась.

В приговоре Петрогубчека главный пункт обвинения: “обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров”. Как видим, даже губчека не обвинило Николая Степановича в принадлежности к руководству организацией, а лишь в обещании содействия. Обещание осталось невыполненным, поскольку восстание было подавлено в Кронштадте и до Питера не дошло.

Известно, что Ахматова до конца дней своих была уверена в абсолютной невиновности Гумилева, за что Марченко строго ее отчитывает:

“Но неужели Анна Андреевна не допускала, что Николай и в самом деле *принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл в нем видную роль?* Лично я в этом сомневаюсь… А если знала, то с какой стати не уставала повторять, …что политика его не интересует?..”

Странные вопросы, ей-богу.

Вы знаете, что я не красный,  
Но и не белый, я — поэт…

А сама Алла Марченко неужели не знает, что еще в сентябре 1991 года коллегия Верховного суда РСФСР отменила приговор в отношении Гумилева “за отсутствием состава преступления”, а еще через год Прокуратура РФ официально признала “дело ПБО” фальсификацией?

Но в другом она, пожалуй, права: “…Превращенный в воспоминание Гумилев… стал больше, лучше и даже прекраснее себя живого — единственный из любивших ее мужчин, он с блеском выдержал экзамен на Героя, а все остальные с треском провалились”. Возвращаясь в эпилоге к теме их отношений, автор говорит, что под конец жизни А.А. все поняла, оценила и раскаялась. Его гибель, его поэзия, интерес к нему в 60-е годы — все это сделало его фигурой большой и значительной.

Все уходит — мне снишься ты…

Может быть, может быть… А может, и нет. Жаль, что в книге должным образом не отражены последние годы жизни Анны Андреевны, там ведь и совсем другие признания можно найти. Но версия, конечно, красивая. Из серии “хотелось бы верить”.

*Ахматова и другие*

Полного “донжуанского списка” Ахматовой (“в столбик”, как у Лукницкого) Алла Марченко приводить не стала, и правильно сделала. Но все же постаралась об основных персонажах рассказать подробно, “проходных” хотя бы упомянуть. Набралось за два десятка имен. Почти никого из них автор не жалует.

Вот, к примеру, портрет Артура Лурье: “Носина на двух евреев, подбородок скошен и маленький, волосы слабые, годам к тридцати облысеет… Этот не прикасался, а надвигался, крался и медленно раздевал ее глазами”.

Вот другой портрет: “Бело-розовое фарфоровое лицо Недоброво сделалось грубо-белым, фаянсовым… Ночью в гостинице совсем осатанел от раздражения…”

Не жалует, вернее, не жалеет автор и саму Ахматову.

Вот ее портрет образца 1936 года, записанный первокурсницей филфака ЛГУ: “…Вышла женщина, такая худая, каких я никогда не видела, с выпученными огромными светлыми глазами, с длинной шеей, с длинной головой и с длинной сизой челкой, непричесанная, в каком-то халате безнадежного цвета… Я что-то лепетала и только пялилась, пялилась на живую Ахматову, страшную, как баба-яга”.

А вот Ахматова в 1965 году, в Париже, встречается с Борисом Анрепом: “он в ужасе отшатнулся от грузной, одышливой старухи”. Между тем, у самого Анрепа читаем: “В кресле сидела величественная полная дама… “Екатерина великая” — подумал я”. Это начало встречи, а вот конец: “Анна Андреевна величественно поднялась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене. — Прощайте. — Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы и вышел в коридор в полудурмане…”.

О необыкновенной притягательности Ахматовой свидетельствуют многие, знавшие ее не только в молодые, но и в зрелые годы. “Я уходил ошеломленный…” — написал о своей первой встрече с Ахматовой в 1959 году А. Найман (в тот год ей было семьдесят). Примерно такой же была реакция у многих других, кто впервые знакомился с ней в те годы. Чтобы кто-то “в ужасе отшатнулся” от нее… Такого ни читать, ни слышать прежде не приходилось.

Но вернемся в молодые годы Анны Андреевны.

Роман с Модильяни Марченко считает мифом и развенчивает сразу по нескольким пунктам. Начало их отношений она относит не к 1910-му, как это делает сама Ахматова в очерке “Амадео Модильяни”, а к 1911 году. Начисто отрицает факт переписки между Модильяни и Ахматовой в зиму 1910—1911 годов: где эти письма? почему не сохранились? почему о них никто не знает? Убеждена, что неизвестная тогда еще поэтесса интересовала такого же неизвестного еще художника только в качестве модели.

“Что же касается самого, с обывательской точки зрения, пикантного, а именно: являются ли страшно похожие на Ахматову *ню* зарисовками с натуры или созданы воображением, то мне лично представляется более правдоподобным первый, отвергаемый Ахматовой вариант. Прямых доказательств у меня, естественно, нет, а косвенное имеется”.

Далее она приводит запись Лукницкого о том, что в 1926 году Пунин сфотографировал А.А. “на ковре в ее акробатической позе — когда она ногами касается головы (голая)”. Доказательство — так себе. Пунин все-таки — муж, хотя и гражданский. Непонятно другое: почему автор, допуская, что Ахматова могла позировать Модильяни “в столь “неприличном” виде”, в то же время не верит, что между двумя совсем молодыми людьми могли при этом случиться близкие отношения? Не верит и настаивает: у Ахматовой с Модильяни не было ничего — “ни писем, ни роковой страсти, ни молодого “секса”, ни даже “творческого взаимопонимания”.

А что же было? По версии автора, в это же самое время, то есть в 1910—1911 годах у нее был совсем другой роман — “полуутаенный”, с человеком, которого обычно считают ее “пожизненно верным другом”, — Георгием Ивановичем Чулковым. Она скрыла это от всех, а он никогда не проговорился. Кстати, письма Чулкова к Ахматовой тоже не сохранились, но по этому поводу никаких вопросов у автора не возникает.

На чем же основана эта догадка? Фамилия Чулкова присутствует в известном “списке” П. Лукницкого. Летом 1911 года Чулков и Ахматова вместе (в смысле в одном поезде) приехали в Париж, оба находились там три месяца. Правда, приехали не вдвоем, а втроем, третьей была сестра Чулкова, а в Париже их ждала еще одна дама — его жена. Вернувшись в Россию, Чулков снял квартиру в Царском Селе, в квартале от Гумилевых.

Этих фактов оказалось достаточно, чтобы сделать вывод: “стихи, которые людская молвь связывает с Модильяни”, на самом деле адресованы Г.И. Чулкову. Некоторые стихотворения “подходят” под эту версию, например, “Сердце к сердцу не приковано…”, кончающееся словами: “Отчего же, отчего же ты/ Лучше, чем избранник мой?”

Но вот о переадресации стихотворения, написанного в 1911 году в Париже, можно и поспорить.

Мне с тобою пьяным весело,  
Смысла нет в твоих рассказах.  
Осень ранняя развесила  
Флаги желтые на вязах

Оба мы в страну обманную  
Забрели и горько каемся,  
Но зачем улыбкой странною  
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей  
Вместо счастья безмятежного…  
Не покину я товарища  
И беспутного и нежного.

“Судя по деталям (ранняя осень, пожелтевшие вязы), — рассуждает Марченко, — речь в них идет все о том же сентябрьском синеватом вечере, когда Георгий Иванович, сделав вид, что им по пути, подвез приглянувшуюся даму”. Но ни про какой “сентябрьский синеватый вечер” (имевший быть в Питере) в этих стихах не говорится. С таким же успехом “осень ранняя” могла привидеться Ахматовой и в летнем Париже, там, бывает, листья желтеют уже в июле. А главное: могла ли Ахматова назвать респектабельного Георгия Ивановича, перед которым робела (он был влиятельный критик, старше ее на десять лет, имел “славную биографию”), своим “пьяным” и “беспутным” товарищем? Это в его-то — умника, интеллектуала — рассказах нет смысла? Другое дело Модильяни — почти ровесник, наркоман и пьяница, говорит на чужом, малопонятном ей языке, и для него “страна обманная” — это не только любовь, но и Париж, пока не жалующий бедного художника.

На самом деле, ни аргументы против романа с Модильяни, ни аргументы за роман с Чулковым до конца не убеждают. Просто одна версия подменена другой версией.

…Про то, как у нее “не было романа с Блоком”, Ахматова все объяснила сама, тут автору, кажется, и делать нечего. Марченко все же посвящает этому сюжету целую главу, в которой по крупицам собирает детали и нюансы отношений, могущие свидетельствовать о том, что некое взаимное притяжение между ними все-таки было, но… “Стихи свидетельствовали: он по-прежнему воспринимает ее как среднекрасивую женщину, которая, притягивая, не притягивает достаточно сильно”.

Оставим эту странную фразу без комментария и обратимся к версии автора о том, какой могла быть тема разговора двух поэтов во время их знаменитой встречи 15 декабря 1913 года. Той самой, о которой написано стихотворение Ахматовой “Я пришла к поэту в гости…”. Марченко считает, что два поэта, скорее всего, говорили о… море и миноносцах. Приводить аргументацию не буду, скажу только, что выстроена она не на пустом месте. Но каким бы логичным ни казалось это предположение, оно остается всего лишь предположением. О чем на самом деле говорили поэты — тайна. Достоверно известна (от самой Ахматовой) только одна деталь этого разговора. Она сказала: мол, поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что “Блок мешает ему писать стихи”. Он ответил: “Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой”. Зная нелюбовь Ахматовой к Толстому, почему бы не предположить, что она “зацепилась” за эти слова, и дальнейший разговор был о Толстом? Наконец, есть два произведения, посвященных этой встрече, но ни в уже упоминавшемся стихотворении Ахматовой, ни в мадригале Блока (“Красота страшна” — Вам скажут…”) нет ни малейшего намека на “морскую” тему. Может, они о “красоте” и говорили? Или все-таки (как это ни банально) о поэзии? Фантазировать можно сколько угодно.

Самое же любопытное в этой главе — сопоставление отдельных стихов двух поэтов, выявление того влияния, которое поэтика Блока оказала на поэтику Ахматовой. Не менее любопытны, даже неожиданны есенинские мотивы, обнаруженные автором в некоторых стихах Ахматовой (“Как васильки во ржи, цветут в лице глаза…” — “Там милого сына цветут васильковые очи…”).

Впрочем, книга все-таки не о поэзии как таковой, она — о любви.

…Однажды Фаина Раневская спросила Ахматову, что было “самого страшного” в ее жизни. И получила ответ: когда в 1914 году на Невском “Пунин встретился со мной глазами и, не узнав, прошел мимо”. Размышляя над этим странным ответом, Марченко ищет какого-то “вещественного” объяснения и находит его в дневнике Н.Н. Пунина. Там есть такие строки: “Она умна, она прошла большую поэтическую культуру, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве…”. Марченко полагает, что Анна Андреевна читала эту запись. Но Ахматовой было не привыкать читать и слышать о себе нелицеприятные вещи (от тех же литературных критиков, от тех же партийных и литературных чиновников), и вряд ли она считала это “самым страшным” в своей жизни.

А вот другое предположение автора кажется верным: “проживая сызнова свою жизнь, Ахматова пыталась вообразить, как сложилась бы женская ее судьба, если бы осенью 1914-го Пунин, еще не связанный узами брака, не прошел мимо”. Если еще немного развить эту мысль, можно сказать, что не было бы четырех лет “заточения” у Шилейки, не было бы жизни втроем в Фонтанном доме, Лев Гумилев не был бы бездомным…

“Я тебе не могу простить, что дважды ты прошел мимо: в XVIII веке и в начале ХХ” (Ахматова — Пунину). Имеется в виду, конечно, XIX век, в конце которого оба они учились в царскосельской гимназии. Неужели именно в Пунине она видела того единственного человека, с которым могла бы прожить всю свою жизнь? Известно же, что на вопрос другой своей подруги, Нины Ольшевской, о том, кого она больше всех любила, Ахматова ответила так же загадочно: “Вот прожила с Пуниным еще два года…”. Все-таки есть вещи, в которые не дано проникнуть никому, и пытаться не надо. “Тайна тайн”, как говорила в таких случаях сама Ахматова.

Более убедительным получилось “расследование”, предпринятое по поводу стихотворения “В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…”, написанного в 1959 году, но относящегося ко времени ташкентской эвакуации Ахматовой. Его считали (в первую очередь Л. Чуковская) адресованным польскому графу Юзефу Чапскому, с которым обе были знакомы в Ташкенте. Марченко же доказывает, что настоящий адресат — молодой тогда композитор Алексей Козловский (тоже частично польского происхождения). Попутно выясняется любопытная подробность: именно этот человек якобы “разомкнул слух” Ахматовой, которая была, по выражению автора, “в музыкальном отношении — калека: слепоглухонемая”. (Поверить в это трудно, хотя бы потому, что сами стихи Ахматовой исключительно музыкальны). И так же, попутно, разъясняется возможная причина загадочной ташкентской размолвки с Лидией Чуковской, продлившейся потом десятилетие. Тут Марченко предлагает довольно правдоподобную версию: А.А. не хотела, чтобы та знала о ее отношениях с Козловским, а утаить их было сложно, ведь вездесущая и преданная “Лида” ни на шаг не отступала от Ахматовой.

Исследование этого сюжета, как и многих предыдущих, представляет собой вполне самостоятельный текст, не нуждающийся ни в каких “до” и “после”. Однако, вставленный в биографическую книгу в качестве одной из глав, он создает в ней заметный перекос. Получилось, что Ахматова довольно весело проводила время в эвакуации, увлеклась молодым человеком, гуляла с ним по ночам под звездами и училась у него слышать и понимать музыку. На самом деле жизнь в эвакуации отношениями с Козловским отнюдь не исчерпывалась. И в следующей главе, словно спохватившись, автор добавляет к ташкентскому периоду некоторые трагические реалии — беспокойство о сыне, который был в это время на фронте, и о В. Гаршине, оставшемся в блокадном Ленинграде, тяжелые болезни (тиф, скарлатина), наконец, напряженную работу над “Поэмой без героя”…

Разбираясь в послевоенном периоде жизни Ахматовой, Марченко задается вопросом: почему А.А. повела себя так неосторожно в истории с Исайей Берлином? Но ответа не находит. А не та ли это самая неосторожность, что подвигла Мандельштама читать кому ни попадя свою антисталинскую оду? Может, в обоих случаях это была… гордость? Гордость поэта, сумевшего написать *такое* про всемогущего тирана. Гордость поэтессы, к которой пришел гость *оттуда* и принес весть о ее мировой славе. Все, кто писал об этой судьбоносной для Ахматовой встрече, корили ее за преувеличенное значение, которое она ей придавала, корит и Марченко. Но мне симпатичнее суждение Иосифа Бродского о том, что выводы Ахматовой небеспочвенны.

“Я думаю, что в оценке последствий ее встречи в 1945 году с сэром Исайей Ахматова была не так уж далека от истины. Во всяком случае, ближе к истине, чем многим кажется… Конечно, я не думаю, что “холодная война” возникла только из-за встречи Ахматовой с Берлином. Но что гонения на Ахматову и Зощенко отравили атмосферу — на этот счет у меня никакого сомнения нет” (из беседы с С. Волковым).

Последняя глава книги называется “Катастрофа сорок шестого года”. После нее Анна Андреевна прожила еще двадцать лет, но они отражены у Марченко лишь пунктирно. То ли она не успела глубоко изучить этот период жизни своей героини, то ли намеренно не стала этого делать. Впрочем, коль скоро главной темой книги стала женская судьба Ахматовой, то некоторый резон в таком акценте на молодость и зрелость в ущерб старости есть: все ее любови, романы закончились именно тогда — в середине сороковых. Постановление 1946 года поставило крест не только на стихах Ахматовой, но и на ее женской судьбе. “Чуждые советской литературе” стихи перестали печатать, а самой “полумонахине, полублуднице” больше никто не рискнул предлагать руку и сердце. А когда и это миновало, и у нее снова появились поклонники (ее таланта, ее судьбы), она была уже хоть и прекрасной, но старой дамой. И напрасно А. Марченко походя ругает этих последних в жизни Ахматовой поклонников, мол, “эти быстрые мальчики и Будку, и ее хозяйку вроде как приватизировали”. Этим “мальчикам” мы должны быть благодарны за то, что в последние годы своей трудной жизни Анна Андреевна была хоть немного счастлива и главное — писала стихи.

 \* Поэзия, № 1—2, 2001 г.